


А.ЯШИН

РЫЧАГИ



FLEGON PRESS

АЛЕКСАНДР ЯШИН

Р Ы Ч А Г И

— РАССКАЗ —



**FLEGON PRESS
LONDON
1965**

©

COPYRIGHT "FLEGON PRESS" 1965,
24 Chancery Lane,
London, W.C.2.

*Printed for Flegon Press by
U. P. Ltd., 200 Liverpool Road, London, N.1.*

Вечером в правлении колхоза, как всегда, горела керосиновая лампа и потрескивал батарейный радиоприемник. Передавались марши, но их почти не было слышно. За сосновым квадратным столом сидели четыре собеседника, а табачного дыму было столько, что огонек в лампе еле-еле дышал, как в часы большого собрания. Казалось, что и приемник потрескивает потому, что дыму в избе много. На столе для окурков стоял глиняный горшок, он был уже полон. Временами в горшке от брошенной цыгарки вспыхивал огонь, тогда бородатый животновод Ципышев прикрывал горшок осколком настольного стекла. При этом каждый раз кто-нибудь произносил одну и ту же шутку:

— Сожжешь бороду, — коровы бояться перестанут!

На что Ципышев неизменно отвечал:

— Бояться перестанут, так, может, удоя прибавят. И все смеялись.

Пепел с цыгарки стряхивали на пол, на подоконники, а в горшок кидали только окурки.

Сидели долго, разговаривали неторопливо — обо всем понемногу и доверительно, без всяких оглядок, как старые добрые товарищи.



Сквозь полумрак на бревенчатых стенах проглядывались кое-какие случайные плакаты и лозунги, список членов колхоза с указанием по месяцам количества выработанных трудодней, обрывок старой стенной газеты и пустая, вся черная доска, разделенная белой чертой на две равные части: на одной половине мелом было написано »черная«, на другой половине — »красная«.

— А ведь сахар-то в сельпо на днях опять привозили! — сказал кладовщик Щукин, самый молодой из собеседников, в одежде которого замечалась уже городская школа: на нем была рубашка с галстуком, из нагрудного кармана пиджака торчали авторучка и расческа.

— Донес, что ли, кто? — лукаво спросил его третий из сидевших за столом, человек без левой руки, полный, рыхловатый, в затасканном, чуть ли еще не фронтовом брезентовом плаще внакидку.

— Никто не доносил, а сам Микола с бабой послал мне на дом килограмма два, сказал — после рассчитаемся.

— И ты взял?

— Взял. Не брать, так всю жизнь без сахару просидишь. И ты бы взял.

— Ну, тебе-то, Петр Кузьмич, он не пошлет! — засмеялся в бороду Ципышев, глянув на однорукого сбоку, с прищуркой. — Злой он на тебя. А Серега ему свой человек, — обернулся он к Щукину. — Серега его не снимал с кладовой, хоть и сел на его место.

Сергей Щукин совсем недавно был рядовым колхозником. Вступив в партию с месяц назад, он начал поговаривать о том, что все командные высоты в колхозе должны занимать коммунисты, а что ему теперь просто неудобно не продвигаться по должности. С ним согласились. Вспомнили, что колхозный кладовщик имеет уже несколько замечаний за воровство, и поставили в кладовую Щукина. На очередном общем собрании никто против этого решения возражать не стал. Щукин купил себе авторучку и стал носить галстук. А предшественник его ушел на работу в сельпо. О нем сейчас и шел разговор.

— Взял-то я взял, — сказал Щукин после некоторого раздумья, — но где же все-таки правда? Куда уходит сахар, где мыло, где все? — После этих слов он достал расческу и стал приглаживать густые, молодые непокорные волосы.

Тогда дал о себе знать и четвертый собеседник:

— Зачем тебе правда, ты сейчас — кладовщик?

Четвертый был человеком средних лет, но уже с сединой, бледный и, повидимому, не очень здоровый. Он курил непрерывно, больше всех и много кашлял. Когда протягивал руку к горшку, чтобы выкинуть обжигавший пальцы окурочек, видны были его большие толстые ногти и под ногтями — земля, не грязь, а земля. Это был бригадир полеводческой бригады Иван Коноплев. Слыл он мужиком справедливым, но злым, говорил редко, но едко. На резкие слова его обычно никто не обижался, видимо

люди не чувствовали в них нелюбви к себе. Не обиделся и Щукин.

А однорукий, которого все называли по имени и отчеству, Петром Кузьмичом, возразил:

— Ну, правда — она нужна. На ней все держимся. Только я, мужики, чего-то опять не понимаю. Не могу понять, что у нас в районе делается? Вот ведь сказали — планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утверждают. Третий раз вернули для поправок. Видно, собрали все колхозные планы, сбалансировали, и вышло — с районным планом не сходятся. А районный план дают сверху. Тут кумекать много тоже нельзя. Ну, и нашла коса на камень. Искры летят, а толку нет. От нашего плана опять ничего не осталось. Вот тебе и правда! Не верят нам.

— Правду у нас в районе сажают только в почетные президиумы, чтобы не обижалась да помалкивала, — сказал бледный Коноплев и бросил окурок в горшок.

Ввернул свое слово и Щукин:

— Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика и самокритика. К делу она неприменима, — так, что ли, выходит?

На лице Ципышева вдруг промелькнула настороженность и какое-то чувство неловкости — казалось, ему перестал нравиться этот доверительный разговор.

— Ладно, руби, да знай, куда щепки летят, — жестко заметил он Щукину. И тут же изменил тон, словно пожалел о своей грубости. — Правда, брат,

она есть правда... А вот тебя посади в почетный президиум, ты и перестанешь землю видеть, — сказал и засмеялся, раздувая усы и бороду.

Борода у Ципышева росла не только на подбородке, но и на щеках и за ушами, сливалась с густыми рыжеватыми бровями, нависала на глаза, и когда Ципышев смеялся — смеялось все его лицо, вся борода, а глаза поблескивали откуда-то из глубины волос.

— Был я на днях в райкоме, у самого, — продолжал Петр Кузьмич, называя так первого секретаря райкома. — Что же, говорю, вы с нами делаете? Не согласятся колхозники третий раз план изменять, обидятся. Нам лен нужен. Под лен и лучшую землю отводить следует. А опыты у нас уже были и с кроликами и с травопольем. Сколько людей зря извели. Хлеба не стало — государству же во вред. Дайте, говорю, хоть десять, ну двадцать гектар на первый раз, а не сто, не тысячу. Привыкнем — сами прибавим, сами будем просить больше. Давайте не сразу... »Нет, говорит, сразу. Надо, говорит, план перевыполнить, надо активно внедрять новое«. Активно-то, говорю, активно, да ведь у нас север, и народу мало, и земля — она своего требует. Людей убеждать надо. Ленин указывал — активно убеждать надо. А он говорит: »Вот ты и убеждай! Мы тебя раньше убеждали, когда колхозы организовывали, а сейчас ты убеждай других, проводи партийную линию. Вы, говорит, теперь наши рычаги в деревне«. Говорит, а сам руками разводит, видно

ему тоже не все сладко. А гибкости в нем нет, не понимает он, чего хочет партия, боится понять.

— Накаленная атмосфера! — как бы пояснил его слова Щукин и снова потянулся за расческой.

— И не будет сладко. Он все равно долго здесь не усидит, — сказал Ципышев. — Не так себя поставил, строго очень. Людей не слушает, все сам решает. Люди для него — только рычаги. А я так понимаю, ребята, что это и есть бюрократизм. Вот, скажем, приходим мы к нему на собрание. Ну, поговорим, как человек, по душам. Нет, не может без строгости, обязательно строгость соблюдает. Как оглядит всех сверху да буркнет: »Начнем, товарищи! Все в сборе?« — Ну, душа в пятки уходит, сидим, ждем выволочки... Скажи прямо, если что не ладно — народ горы своротит за одно прямое слово. Нет, не может.

— Он думает, что партия авторитет потеряет, если он с народом будет разговаривать, как человек, по-простому. Ведь знает, что получаем в колхозе по сто граммов на трудодень, а твердит одно: с каждым годом растет стоимость трудодня и увеличивается благосостояние. Коров в нашем колхозе не стало, а он: с каждым годом растет и крепнет колхозное животноводство. Скажи: мол, живете вы неважно потому-то и потому-то... но будем жить лучше. Скажи — и люди охотнее за работу возьмутся.

— Накаленная атмосфера! — снова заключил Щукин горячие слова Петра Кузьмича.

Иван Коноплев докуривал новую цыгарку, нервничал и все порывался сказать что-то — видно, резкое и едкое, но тяжелый астматический кашель вдруг схватил его и вывел из-за стола. У порога Коноплев поднял веник и догло плевал в угол. А животновод Ципышев с сочувствием выговаривал ему:

— Опять, наверно, табак сменил? Я тебе давно наказывал — кури одну махорку, да корешковую, легче будет.

Немного откашлявшись, но еще не разгибаясь, Коноплев поднял голову и сказал с хрипотцой:

— Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся: сами все понимают, а прыгнуть боязно. Где уж тут убеждать. На рычаги надеются. Дома закованные в деревне видят, а сказать об этом вслух не хотят. Только и заботы, чтобы в сводках все цифры были круглые. А как люди, что люди, с чем они остались?.. — И Коноплев опять мучительно закашлялся.

— Ладно, ладно, помолчи, а то вся душа наружу выскочит! — Ципышев встал из-за стола и пошел к порогу, к Коноплеву. — Вот погоди, Иван, мы тебе путевку через райком выхлопочем. Съездишь к морю за воздухом, заодно посмотришь, как люди там живут, поучишься и нам расскажешь. Смелости всем добавишь.

Коноплев сделал навстречу ему нетерпеливое движение рукой, — сиди, дескать, зачем сюда лезешь, уйди! — но сказать из-за кашля ничего не смог. Ципышев вернулся к столу.

— Женка ему такую путевку пропишет, что и родных не узнает, — сказал Щукин. — Она у него наблюдательная: кашляй сколько хочешь, кури, пей, только чтобы от нее ни на шаг.

— Воздух у нас свой не хуже морского, — мечтательно заметил Петр Кузьмич. — Воздух-то есть! Раньше, бывало, лечиться от кашля ходили на смолокурни или живицу гнать. В сосняке поживет человек недели три-четыре, пособирает эту живицу из коробочек в бочки — глядишь; и деньги зарабатывает и дыханье легче станет. Закупают ли нынче где эту живицу? Что-то я не слышал. Терпентин из нее какой-то делали да канифоль для скрипачей. Сейчас, поди, без канифоли играют.

— Пластмассой заменили. Вот! — Щукин показал свою расческу. — Она тоже из пластмассы.

На расческу Щукина никто не взглянул.

— А лампа у нас совсем гаснет, ребята, — поднял кверху свою бороду Ципышев.

От порога отозвался Коноплев:

— Погаснешь без воздуху. Лампе тоже воздух нужен.

Коноплев последний раз пошумел сухим веником и вернулся к столу. Лицо у него было бледное, дыхание тяжелое.

— Я так понимаю наши дела, — сказал он. — Пока нет доверия к самому рядовому мужику в колхозе, не будет и настоящих порядков, еще хлебом горя немало. Пишут у нас: появился новый человек. Верно, — появился! Колхоз переделал крестьянина. Верно, — переделал. Мужик уже не

тот стал. Хорошо! Так этому мужику доверять надо. У него тоже ум есть.

— Не волк съел, — лукаво подтвердил Ципышев.

— Вот! И нас не только учить — и слушать надо. А то все сверху да сверху. Планы спускали сверху, председателей сверху, урожайность сверху. Убеждать-то некогда, да и нужды нет, так оно легче. Только спускай, знай, да рекомандуй. Культурную работу свернули — хлопотно, клубы да читальни только в отчетах и действуют, лекции и доклады проводить некому. Остались кампании по разным заготовкам да сборам — пятидневки, декадниги, месячники...

Коноплев передохнул, и Петр Кузьмич воспользовался этим, вставил слово:

— Бывает и так: клин не лезет, а дерево виновато, говорят — дерево с гнильцой. Поди-ка не согласишься в районе. Они тебе дают совет, рекомендацию, а это не совет, а приказ. Не выполнишь — значит, вожди распустил. Колхозники не соглашаются — значит, политический провал.

— А почему — провал?! — почти крикнул Коноплев. — Разве мы не за одно дело болеем, разве у нас интересы разные?

— Ну, райком тоже, брат, по головке не гладят, коли что. И с них требуется, дай боже!

— Дай боже, дай боже! — горячился Коноплев. — Рядом, в Груздихинском районе, другие порядки. Шурин приезжал на днях, рассказывает: там у председателей поджилки не дрожат, когда начальство их в район вызывает. Нет этого страха.

Секретарь в колхоз приходит запросто, разговаривает с людьми не по бумажке.

На полке в переднем углу слышнее заработал радиоприемник. Он все так же потрескивал и шипел, словно выдыхающийся пенный огнетушитель, но теперь сквозь шипенье и потрескиванье пробивалась не музыка, а окающая с запинками речь. Передавались письма с целинных земель. Какой-то паренек рассказывал о своих трудовых успехах на Алтае. Собеседники прислушались.

»Нас всех зовут москвичами, хотя мы из разных городов. Держимся дружно, в обиду себя никому не даем. Урожай в прошлом году выдался необычный. В пшеницу войдешь, словно в камыши. Даже старики не помнят таких хлебов. Для ссыпки не хватало мест, тяжело было...«

Паренек обращался к своей дорогой маме, но так, будто никогда раньше не произносил этого имени. Он явно робел перед микрофоном.

— Ты смотри, — сказал Петр Кузьмич, — и там свои беды: хлеб ссыпать некуда. — Он ткнул рукой в сторону радиоприемника, и брезентовый плащ соскользнул с его левого безрукого плеча.

— Не всем же на Алтай ехать! — буркнул Коноплев и, закашлявшись снова, поднялся из-за стола, взял обеими руками горшок с окурками, пошел к порогу. Там он откинул ногой веник и вывалил окурки в угол.

И тогда обнаружилось, что в избе во все время этого разговора присутствовал еще один человек.

Из-за широкой русской печи раздался повелительный старушечий окрик:

— Куда сыплешь, дохлой? Не тебе подметать. Пол только вымыла, опять запаскудили весь.

От неожиданности мужики вздрогнули и переглянулись.

— Ты все еще тут, Марфа? Чего тебе надо?

— Чего надо... За вами слежу! Подпалите контору, а меня на суд потянут. Метла сухая, вдруг — искра, не приведи бог...

— Иди-ка ты домой.

— Когда надо будет — уйду.

Разговор друзей оборвался, словно они почувствовали себя в чем-то друг перед другом виноватыми.

На мгновение стала слышна улица, шум ветра, далекая девичья песня.

Сергей Щукин выключил приемник, голоса целинников оборвались.

Снова стали отрывать клочки газеты, понемногу вытягивая ее из-под разбитого стекла, и скручивать цыгарки и козьи ножки. Долго молчали, курили... А когда начали опять перебрасываться короткими фразами, это были уже пустые фразы — ни о чем и ни для кого. Про погоду — дрянная стоит погодка, в такую погоду кости ломит; про газеты — они ведь разные бывают, из другой свернешь цыгарку, так горечь одна, и табаком не пахнет; потом что-то про вчерашний день — сходить куда-то надо было, да не сходил; потом про завтрашний день — надо бы встать пораньше, в кои-то веки баба собирается блинами накормить... Пустые фразы, — но про-

износили их уже приглушенно, тихо, то и дело оглядываясь по сторонам да на печку, словно за ней скрывалась не Марфа, конторская уборщица, а какой-то посторонний, непонятный человек, которого следует остерегаться. Ципышев посерьезнел, больше не разговаривал, не улыбался, только раза три спросил, так, не обращаясь ни к кому:

— Что это учительница замешкалась? Начинать бы надо партийное собрание.

Один Щукин вдруг повел себя несколько странно; ему не сиделось на месте, табуретка под ним поскрипывала, глаза — молодые, озорные, с хитринкой — блестели и смотрели на всех с вызовом. Казалось, Щукин вдруг увидел что-то такое, чего никто другой еще не видел, и потому почувствовал свое превосходство над другими. Наконец, он не выдержал и громко захохотал.

— Ох, и напугала же нас проклятая баба! — хохоча, говорил Щукин.

Петр Кузьмич и Коноплев переглянулись и тоже захохотали.

— И верно — дьяволица! Вдруг из-за печки как рывкнет. Ну, думаю... — Иван Коноплев с трудом закончил фразу: — Ну, думаю, сам приехал, застукал нас...

— Перепугались, как мальчишки на чужом горохе.

Смех разрядил напряженность и вернул людям их нормальное самочувствие.

— И чего мы боимся, мужики? — раздумчиво и

немного грустно произнес вдруг Петр Кузьмич: —
Ведь самих себя уже боимся!

Но Ципышев не улыбнулся и на этот раз, Он, словно не заметил, что заливались и Коноплев и Петр Кузьмич, а только на Сергея Щукина взглянул строго, как старший.

— Молод ты еще, чтобы над этим смеяться!
Поживи с наше . . .

Но Щукин уже не унимался. К тому же и Петр Кузьмич и Коноплев были явно на его стороне. Они оживленно подмаргивали ему и продолжали смеяться.

— Вот так и боимся! — сказал Коноплев.

Марфа за печкой молчала.

В контору ввалились два паренька комсомольского возраста.

— Вы зачем? — повернулся к ним Ципышев всем телом.

— Радио хотим послушать.

— Нельзя. У нас сейчас партсобрание будет.

— А нам куда? Тут нас много.

— Куда хотите.

Сказав это, Ципышев оглянулся на своих друзей, словно хотел узнать, одобряют ли они его поведение.

Петр Кузьмич не одобрил.

— Вот что, молодцы, — сказал он, обращаясь к ребятам. — Мы тут провернем партсобрание, поговорим, а потом уж вы занимайте позиции.

Наконец, пришла и учительница, Акулина Семеновна, — молодая, низкорослая, почти девочка. Она устало распутала, сняла с головы серый шерстяной

платок и ткнулась в уголок под деревянную полку с приемником. С ее приходом немного оживился и Ципышев. Но это его оживление выразилось в том, что он преувеличенно строго, по-начальнически заговорил с учительницей:

— Ты что это, Акулина Семеновна, всех ждать заставляешь?

Акулина Семеновна виновато посмотрела на Ципышева, на Петра Кузьмича, потом на горшок с окурками, на лампу и опустила глаза.

— Ну... задержалась... в школе. Вот, Петр Кузьмич, — обратилась она к однорукому, — я бы хотела до начала собрания решить вопрос. В школе дров нет...

— О делах потом, — оборвал ее Ципышев, — сейчас собрание проводить надо. Райком давно требует, чтобы в месяц два собрания было, а мы и одного сговориться запротоколировать не можем. Как отчитываться будем?

Иван Коноплев при этом крякнул, и Ципышев опять на какое-то мгновение словно бы почувствовал неловкость, неуверенность в себе и робко оглянулся вокруг, будто просил извинения за свои слова. Но все промолчали. Тогда голос Ципышева окончательно приобрел твердость и властность. Что произошло? Борода его расправилась, удлинилась, глаза посуровели, в них исчез живой огонек, который поблескивал в минуты простой дружеской беседы. К уборщице Марфе Ципышев обратился уже тоном приказа:

— Ты, Марфа, выйди! Мы тут партийное собрание проведем. Говорить будем.

И Марфа словно почувствовала происшедшую перемену, — она не ослушалась, не заворчала.

— Говорите, говорите. Разве я не понимаю. Выйду.

Когда за притихшей Марфой тихо закрылась дверь, Ципышев встал и произнес те самые слова, которые в подобных случаях произносил секретарь райкома партии, и даже тем же сухим строгим и словно бы заговорщическим голосом, каким говорил перед началом собраний секретарь райкома:

— Начнем, товарищи! Все в сборе?

Сказал он это и будто щелкнул выключателем какого-то чудодейственного механизма: все в избе начало преображаться до неузнаваемости — люди, и вещи, и, кажется, даже воздух.

Щукин и Коноплев бесшумно отодвинулись от стола. Петр Кузьмич остался сидеть, где сидел, только подобрал наполовину свалившийся с плеч брезентовый плащ и положил его в сторону, на лавку. Учительница Акулина Семеновна еще больше втянулась в угол под радиоприемник. Лица у всех стали сосредоточенными, напряженными и скучными, будто люди приготовились к чему-то очень давно знакомому, но все же торжественному и важному. Все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир, в обстановку сложную и не совсем еще привычную и понятную для этих простых, сердечных людей.

— Все в сборе? — повторил Ципышев, оглядывая присутствующих, словно их было по крайней мере не один десяток.

А было их сейчас, как мы уже знаем, всего-навсего пятеро. Животновод Степан Ципышев оказался секретарем парторганизации. В секретари его избрали недавно по рекомендации райкома. Польщенный этим, Ципышев старался как можно лучше исполнять свою роль и, будучи человеком неискушенным, невольно начал во всем подражать «хозяйину района». Правда, иногда он сам иронизировал над собою, но всякое указание сверху исполнял все же с таким рвением и с такой буквальностью, — все из робости допустить какую-нибудь ошибку, — что порой не хуже было бы, если бы не всякая спица ставилась им в колесницу. Присутствовавший при избрании Ципышева зональный инструктор райкома пошутил, что у товарища Ципышева есть немало достоинств, но есть и недостатки и главным его недостатком является борода. Ципышев принял эту шутку всерьез, как указание, и решил про себя, что бороду и все прочие волосы с лица обязательно снимет, но пока для этого не было подходящего случая.

Петр Кузьмич Кудрявцев, однорукий, оказался председателем колхоза. Иван Коноплев, как уже упоминалось, — бригадиром-полеводом. Сергей Щукин — кладовщиком. С тех пор как Щукина поставили кладовщиком, а его предшественник снялся с учета в связи с переходом на работу в сельпо, рядовых колхозников в парторганизации не

было. Акулина Семеновна — та уж совсем из интеллигенции, хотя была своя, односельчанка, и во всем зависела от правления колхоза.

— Первое слово по ходу дня предоставляю председателю нашего колхоза товарищу Петру Кузьмичу.

Кудрявцев Петр Кузьмич встал.

Ципышев сел.

Партийное собрание началось.

И началось то самое, о чем с такой откровенностью и пронизательностью только что говорили между собой члены партийной организации, в том числе и сам секретарь ее, понося казенщину, бюрократизм, буквоедство в делах и в речах.

— Товарищи! — сказал председатель колхоза. — Райком и райисполком не утвердили нашего производственного плана. Я считаю, что мы кое-что не предусмотрели и пустили на самотек. Это не к лицу нам. Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее. А людей убеждать надо, товарищи. Мы с вами являемся рычагами партии в колхозной деревне — на это нам указали в райкоме и в райисполкоме . . .

Учительница осторожными, крадущимися движениями рук, чтобы никому не помешать, снова повязала голову платком, лица ее не стало видно, и о чем она сейчас думала, никто бы сказать не смог.

А Щукин опять заулыбался. Он достал из кармана вечное перо, повертел его в руках, затем вынул расческу, посмотрел сквозь нее на лампу, тихонько дунул на зубья и положил расческу

обратно, причесываться не стал. Лицо его расплывалось все шире и шире, а в глазах засветился лукавый издевательский огонек. Казалось, вот-вот Щукин снова расхохочется. Но он не расхохотался и только толкнул в бок Коноплева и шепнул ему:

— Видел, что делается? Узнаешь ты его сейчас?

Коноплев тоже улыбнулся, но криво, недобро.

— Ладно уж, не мешай ему выговориться. Так надо. Петр Кузьмич сейчас в своей должности. Как в районе, так и у нас. Каков поп, таков и приход.

— А правда как?

— Правда — она свое возьмет. Она, брат, скоро дойдет и до нас, она прогремит.

— До точки ведь докатимся.

— Не докатимся.

И Коноплев потянулся к столу, придвинул к себе горшок и курил, курил... Кашлять он не решался, крепился, хотя в груди все kloкотало и свистело.

Кудрявцев Петр Кузьмич говорил недолго. Суть его доклада сводилась к тому, что боеспособность партийной организации район поставит под сомнение, если план севооборота колхоза на следующий год не будет исправлен немедленно и безоговорочно согласно указаниям райкома и райисполкома. С этим согласились все выступавшие в прениях. Иначе было нельзя.

А в прениях выступали и Акулина Семеновна, и Щукин, и Коноплев. Расхождений во мнениях не обнаружилось, как не было их и во время той дружеской беседы до начала партийного собрания; правда, сейчас согласованность и единодушие про-

являлись несколько в ином, можно сказать, в обратном значении.

Ципышев был удовлетворен сплоченностью коммунистов и по второму вопросу выступал сам. Как-то зональный секретарь райкома партии обратил внимание на то, что в колхозе не развернута политико-воспитательная работа и о соответствующих фактах сообщил докладной запиской первому секретарю райкома.

— Лучших мы, товарищи, не поощряем, — говорил в связи с этим Ципышев, — отсталых не наказываем, соревнования нет. Посмотрите, хотя бы на нашу красно-черную доску — картина ясная. Надо возглавить массы, товарищи! Думаю так: наметить для премирования несколько объектов, для этого на каждом объекте подобрать одного-двух человек... А кое-кого штрафнуть, чтобы на обе стороны правильно было... В райкоме нас одобряют...

Собрание единогласно постановило выделить пять человек на премию, трех на штраф. Разговор возник только о том, на каких объектах нужно искать людей для поощрения, на каких — для наказания.

Ни одной резолюции написать не успели, — вернулась Марфа, чтобы прибрать и запереть контору. Петр Кузьмич предложил составление резолюций поручить секретарю.

— Ты напиши знаешь как, — шептал он, довольный, что собрание подошло к концу: — »В обстановке высокого трудового подъема по всему колхозу разворачивается...«

— »По всей стране...« — подсказал Щукин.

Домой собрались быстро, и похоже, что у всех на душе было ощущение исполненной обязанности и в то же время неловкости, недовольства собой. А на крыльце уже застучали сапоги, в дверях появилась молодежь.

— Во-время! — ответил Петр Кузьмич. — Самое время. Заходите ребята, все.

В избу ворвался прохладный воздух с улицы. Огонек в лампе ожил, задвигались табуретки. Открыли окно.

— Ну и дыму у вас! — шумели девушки.

Акулина Семеновна с появлением молодежи выпрямилась, сбросила с головы платок. Это были люди ее возраста, с ними она чувствовала себя свободнее. Заходил кругами и Сергей Щукин — затянул потуже галстук и уже не покидал девушек.

Включенный приемник неожиданно заговорил громко и чисто. Передавались материалы о подготовке к двадцатому партийному съезду. Это сообщение прослушали все.

Петр Кузьмич, словно подобрев, перед уходом сказал Акулине Семеновне:

— Дрова будут, ты не беспокойся, распоряжусь.

А Ципышев подошел к Сергею Щукину и сжал ему руку повыше локтя:

— Останешься тут?

— Остаюсь.

— Ну, следи, чтобы ничего такого . . .

Когда председатель колхоза Кудрявцев и полевод Иван Коноплев шли из конторы по темной грязной

улице, возобновился разговор о жизни, о быте, о работе — тот самый, который шел до собрания.

— Теперь что двадцатый съезд скажет! — то и дело повторяли они. И снова это были чистые, сердечные, прямые люди, люди, а не рычаги.
